



В. Л. БОЦЯНОВСКИЙ

Нечто о «трусливом интеллигенте»

1

В интеллигентском муравейнике сейчас большая суета.

Газеты и журналы шелестят своими листами, шелестят, жуют и пережевывают небольшой сборник статей, которым неожиданно выстрелили семь авторов, вообразивших, что семь их статей весьма знаменательные «Вехи».

Никогда еще, кажется, вопрос об отношении народа и интеллигенции не ставился так остро, так несправедливо, как сейчас.

И никогда еще наша интеллигенция не выступала в такой не свойственной ей роли, как теперь в сборнике «Вехи», — сборнике, от которого истинные интеллигенты отреклись и будут отрекаться еще долго.

Чем-то дряблым, жалким, беспомощно-трусливым веет из каждой строки этой печальной книги.

Чем больше вчитываюсь я в нее, тем ярче рисуется мне такая картина.

Весенние полые воды выступили из берегов, залили луга, дошли до огородов. Мельник открыл все шлюзы в плотине. Весенняя вода бурными пенистыми каскадами с негодующим ревом прорывается сквозь небольшие отверстия, шумит, клубится, пенится. Но вода все прибывает, прибывает. Напор ее все крепнет и крепнет. Она уже не уместается в старых берегах, как они ни расширяются, достигла предела. Наконец плотина вместе со шлюзами выталкивается. Вода устремляется, уходит — уходит не только с захваченных ею временно берегов, но даже из русла обычного, старого...

Только в углублениях, овражках остались лужицы, немного воды. В этих лужицах трепыхаются запоздалые мелкие рыбешки. Крупные ушли с весенней водой.

Оставшиеся рыбешки в ужасе... Воды еле-еле хватает, чтобы покрыть их плавники. С ужасом видят они, что им нечем дышать, что они выброшены из привычной стихии и что повсюду, где была недавно еще такая страшная вода, ходят мальчишки, дети, голыми руками берут рыбешек и уносят куда-то в корзинах...

Страх охватывает рыбешек. Они начинают биться в последних судорогах, проклинают весну, проклинают весеннюю силу, проклинают воду за то, что она вырвала плотину, за то, что они, убоявшись бурного течения, засели под коряги, не предполагая, что под этими корягами, казавшимися столь спасительными, они очутятся в таком страшном положении.

2

Когда семь «смирненных» выкинули свои «Вехи», мне нарисовалась именно такая картина. Картина полного отчаяния, страха, полной растерянности.

Разве изумительная статья г. Изгоева, в которой он громит молодежь за ее молодые силы, не продиктована чувством негодования за эти весенние сны? Разве вы не слышите в них негодования мелкой рыбешки за испорченную плотину, за то, что прорвали плотину, удерживающую воду?

А статьи Струве и Кистяковского? Авторы «Вех» возмущены тем, что русская интеллигенция до сих пор выработала страшно неудобные прописи, выработала мораль, заставляющую каждого отдельного человека думать не о своей скорлупе, не о себе, а о благе общем.

Тирания политики кончилась, торжествует Гершензон. До сих пор общепризнан был один путь хорошей жизни — жить для народа, для общества. Действительно, шли по этой дороге единицы, а все остальные не шли по ней, но не шли и по другим путям, потому что все другие пути считались недостойными.

Свержен старый неудобный Бог! Умерли жрецы этого Бога, вроде Михайловского, не позволявшие кощунственно относиться к святыне и мужественно отбивавшие всякую попытку бросить грязью в это Божество. Михайловский, Писарев и другие бодро поддерживали священный огонь, подливали елей в лампы, на которые сейчас дуют с таким остервенением Изгоевы, Гершензоны, Струве и другие «смирненные», у которых «головка виснет»...

И во имя чего гасят вечные давние огни? Во имя каких новых богов выступают эти гасители, эти новые иконоборцы? Где то новое, перед которым должно потускнеть старое?

Оказывается, у них нет пока ничего, абсолютно ничего.

Струве, например, очень долго останавливается на ошибках старой русской интеллигенции. Имеет «мужество» казнить ее за ошибки и не меньшее мужество совершенно умолчать об ее заслугах. А когда вы спросите его о том, к чему он лично зовет, то окажется, что зовет он к «самоуглублению» и самосовершенствованию.

В основу тактики и политики ляжет идея не внешнего устройства общественной жизни, а внутреннего усовершенствования человека!

Для того чтобы высказать такую программу, нужно не мужество, а, как бы это выразиться помягче... Ну, не дальновидность, что ли? Нужно быть слишком... «кабинетным» человеком, для того чтобы предложить людям, стоящим на болотной трясине, закрыть глаза и заняться внутренним усовершенствованием.

— Да ведь пока я буду совершенствоваться, меня трясина засосет, проглотит, — будет возражать слушатель Струве.

— Это неважно, — будет его успокаивать наш философ. — Как-нибудь там потом выберетесь.

— А если не выберусь?

— Ну, да как-нибудь... Это там потом. Что-нибудь придумаем. А пока совершенствуйтесь, совершенствуйтесь.

По-моему, если уж кто имел действительное мужество, так это Гершензон.

Ближайшие задачи интеллигенции он представляет себе совершенно так же, как и Струве, но он не закрывает глаза и на действительность. Он знает, по крайней мере думает, что «народ», который он слепо отделяет от интеллигенции, будет смотреть на своих интеллигентных вождей и ждать от них ответа.

Получится такая картина. На влажной еще почве, с которой только что сошли вешние воды, будут стоять, как цапли, на одной ноге покаявшиеся интеллигенты. С глазами, устремленными внутрь себя, они будут сначала внутренне совершенствоваться, а потом вырабатывать новые идеалы, новые слова!

Будет ли «народ» терпелив?.. Будет ли он спокоен в своем ожидании? Гершензон знает, убежден, что нет. Командующие классы ничего, кроме искренней радости от подобного успокоения и дремы, не почувствуют — это Гершензону известно. Он знает, что есть элементы, которые спят и видят, чтобы погрузить Россию в сонное царство. Их аплодисменты уже раздались по поводу «Вех» в таких местах, как «Московские ведомости»

и «Колокол»... Но тот же Гершензон знает, что есть элементы и другие, есть такие, что спокойно в мешок не пойдут ни за что и спокойно созерцать углубленных в себя пингвинов не станут.

Струве этого не хочет видеть. А Гершензон видит и имеет мужество сказать:

— Не запугаете. За нас штыки...

Он сразу бросает старую маску, которую, очевидно, носил только по недоразумению и трусости, и сразу же бросает вызов.

— Каковы мы есть, — говорит он, — нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной...

Мужество, прямо геройство!.. Как ему не аплодировать?

— Городовой! — кричит Гершензон испуганным голосом. — Господин городской!.. Там народ!..

Какая смелость! Какая решимость! А впрочем, если хотите, по сравнению с остальными авторами «Вех» это храбрость.

Те ведь не решились даже позвать городского.

«Зачем нам звать? — думают они сами про себя. — Всегда найдется Гершензон, который закричит “караул”. Да городские и сами к нам придут».

Если бы кто-нибудь сказал, что для следующего выпуска «Вех» прислал свою статью Меньшиков или Дубровин, это несколько не было бы ни странно, ни удивительно.

3

Испуг, испуг и только испуг глядит с каждой страницы этого сборника, притом испуг совершенно напрасный.

Деление России на народ и интеллигенцию, унаследованное нами от глубокой древности, совершенно неосновательно.

Теперь этой пропасти нет. Народ стал интеллигенцией, интеллигенция влилась в народ. Конечно, настоящая, подлинная интеллигенция.

Вне слияния осталась небольшая кучка мнимых, мнящих себя истинными интеллигентами людей. Это трусливая, пугливая кучка, которая привыкла бегать только за колесницей триумфатора, кто бы этот триумфатор ни был. Бегут из страха, в надежде, что тут они найдут те футлярчики, в которых им будет хорошо и спокойно и в которых никто их не огорчит и не побеспокоит.

Помните, во времена освободительного движения интеллигенции кричали:

— Руки прочь!..

Это им, этой кучке, кричали здоровые и сильные пролетарские группы, вобравшие в себя все живое и сильное, все, в чем только была жизнь. И когда эти интеллигенты, в глубине души, очевидно, проклинаящие городского за то, что он не помещал разрывать плотины, пробовали примазываться и зашелестели:

— И мы, и мы...

Им естественно крикнули:

— Руки прочь!..

Сейчас эти «интеллигенты» почувствовали себя еще более одиноко.

Их испуг достиг крайнего предела. Это даже не испуг, а прямо паника какая-то. Я сейчас прочел в последнем только что вышедшем альманахе «Шиповник» новую символическую пьесу Александра Блока «Песнь судьбы»¹. Здесь я отмечу ту сторону этой пьесы, которая роднит автора со «смирненными» из «Вех».

Как известно, А. Блок один из первых испугался народа...² В течение целого года он, как мог, везде и всюду кричал: «Перед нами чудовище обло»³ — народ. Народ этот нас не пощадит: «спасайся кто может»...

И успел запугать. Большинство «смирненных» сразу спрятались под сень тюрем и штыков.

— Делайте, что хотите, посадите всю Россию в тюрьму, только спасите нас! — закричали они.

Блок хотя и испугался, но до потери рассудка не дошел. Он сразу уразумел, что посадить весь народ в тюрьму трудно, если вообще возможно. У него не хватило... мужества на такую меру. Он тоже «смирился» и решил пойти прямо в пасть народу.

Авось помилует и выведет на настоящую дорогу.

Его драма, в которой, несмотря на всю ее неяркую символику, все же слышится боль и страх, — чрезвычайно интересная «веха»...

Герой, испуганный искатель, чувствует себя погибшим среди огромной снежной пустыни русской.

— Горит сожженная душа, — жалуется он. — И нет дороги. Что же делать мне, нищему? Куда идти?

Вокруг него «полный мрак». Только снег и ветер звенит. И вдруг рядом с ним вырастает как призрак, как неожиданный пособник некрасовский коробейник с коробом за плечами.

И, представьте себе, этот коробейник точно читал «Вехи», точно беседовал со Струве!

— Ну, — говорит он герою драмы, — сдвигайся, брат, сдвигайся: это святому так простоять нипочем, а нашему брату нельзя: потому замерзнешь! Мало, чтоль, народу она укачала да убаюкала.

— Ты про кого говоришь? — спрашивает интеллигент.

— Известно про кого: про Рассею-матушку. Не одну живую душу она в снегах своих да в степях своих успокоила.

Интеллигент сразу приободрился.

— А ты дорогу знаешь? — спросил он.

— Знаю дорогу, знаю. Как не знать? Да ты не здешний, что ли?

— Нездешний.

— Ну, так откуда же тебе дорогу знать? Вот там огонек ты видишь?

— Нет, не вижу.

— Ну, приглядишься, увидишь. А куда тебе надо-то?

— А я сам не знаю.

— Не знаешь? Чудной ты, я вижу, человек. Бродячий, значит. Ну, иди, иди только на месте не стой. До ближнего места я тебя доведу, а потом сам пойдешь, куда знаешь.

— Выведи, прохожий. А потом, куда знаю, — сам пойду. Так легко пришел в себя интеллигент Блока, испугавшийся бубенчиков гоголевской тройки, задрожавший при одной мысли, что надвигается народ, который захочет мстить и сметет интеллигенцию с лица земли.

Страхи оказались напрасными! Коробейник взял испугавшегося, почти замерзшего маленького человека под свое покровительство и обещал показать ему дорогу.

Видите, господа «смиранные», каков этот народ, многострадальный, но любвеобильный и полный настоящей силы. Он не кричит, как вы: «Городовой!», не взывает ни к тюрьмам, ни к штыкам...

Как вам должно быть стыдно за себя сейчас и как стыдно будет потом!..

(В защиту интеллигенции. Сб. статей. М., 1909. С. 146—154; первоначально опубликовано в газете «Новая Русь». 1909. 8 (21) мая)

